

АЛЕКСАНДРА ШАЛАШОВА

САЛЮТЫ НА ТОЙ СТОРОНЕ

альпина

ПРОЗА

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Москва, 2023

УДК 821.161.1-313.2
ББК 84(2=411)6-444
Ш18

Редактор Мария Головей

Шалашова А.

Ш18 Салюты на той стороне / Александра Шалашова. — М. : Альпина нон-фикшн, 2023. — 244 с.

ISBN 978-5-00139-887-5

В романе Александры Шалашовой одиннадцать рассказчиков — они по-разному переживают и интерпретируют события, не оставляя места сколько-нибудь объективной версии. Это маленькие пациенты и воспитатели санатория на другом берегу реки, куда из Города перед самым началом войны эвакуируют детей. Вскоре взрывают мост, связывавший их с внешним миром, и дети погружаются во тьму. Каждый день они слышат взрывы — или залпы салютов? — но не знают, идет ли еще война.

Нехватка еды, конфликты, новая неформальная иерархия, незримое присутствие Зла, которому нет названия, — и расцветает насилие, вызванное бесконечным одиночеством, страхом. Однажды к детям приходит Солдат и предлагает вывести их к людям. Но дойдут ли они — или попадут прямоиком к неведомым захватчикам?

УДК 821.161.1-313.2
ББК 84(2=411)6-444

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00139-887-5

© Александра Шалашова, 2023
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023



После отбоя снимаем трусы в комнате Мухи.

— Сивая, давай, — он говорит.

И белобрысая снимает, кладет на диван. Они у нее детские, с рисунком на белом хлопке, но никто не смеется. Цветочек там, ромашка. Мне стыдно смотреть.

— Теперь Белка.

Белка не привыкла, руки дрожат — до того не звали, думали, что ей одиннадцать. Потом Муха узнал, что просто мелкая, недоросток вроде как, но складная, ловкая, в волейбол играет. Велел прийти. Только я — для чего я?

— Теперь Конопатая. Конопля, ау. К тебе обращаются.

(Конопля — это я. Только потом им стало лень выговаривать, сократили до Кнопки. Хотя я совсем не Кнопка, во мне сто шестьдесят сантиметров, а буду еще выше; да только тут много пацанов высоких подобралось.)

Я еще сдуру в короткой футболке пришла — девчонки-то трусы сняли, но на Белке платье, на Сивой — длинная мужская рубашка, отцовская, наверное, поэтому получается, что только у меня *все* видно будет.

— Давай, ждут все, — торопят.

Наклоняюсь и снимаю, а от приоткрытого балкона дует, ветер касается голой кожи. По-настоящему голой оказываюсь только я, но никто не смеется.

— Ага, нормально, — кивает Муха.

И тогда начинается — поднимите подолы, дурынды, а то ж не видно ни хрена. Только у Конопатой нормально — э, слышь, а че у тебя *там* не рыжее, ведь должно быть, а?

В этом свете и вправду не рыжее, но я-то знаю, я одна и знаю. Вот-вот засмеются, но почему-то снова никто: наверное, Муха не разрешил. Он третью смену здесь, ему почти шестнадцать. Или уже исполнилось — никто не спросит, он же родственник директора санатория, племянник, кажется. Его с самого *начала* отправили, позаботились, а потом о нас вспомнили. Меня, если разобратся, так и совсем последней привезли и больше из Города детей не брали. Мне повезло.

Куда они делись — те, что остались? Неужели сидят по домам, прячутся, вздрагивают каждую секунду? Да нет, не может быть — уехали к дедушкам-бабушкам, далеко-далеко.

— Ну? Че не рыжее-то? Да не трясись, никто тебе целку рвать не будет.

От этого затрясась, огляделась.

Мухе почти шестнадцать. Он, наверное, может — и на секунду представила: больно, противно?

Белка скривила губы, отвернулась.



Нам, старшим девочкам, сразу объяснили, что так положено. Что надо обязательно прийти в комнату Мухи, когда скажет, кому скажет — он не всем говорит, только тем, кто старше двенадцати, у кого уже *там* волосы растут, он не какой-нибудь. Он не делает ничего особенного, поэтому ни в коем случае нельзя рассказывать родителям. Да и о чем рассказывать — *ты же сама пришла*. Про меня узнал просто — подошел и спросил.

Эй, рыжая, окликнул.

— Она Конопатая, — подсказал Мухе какой-то полноватый мальчишка.

— По фигу. Конопатая? Придешь сегодня в мой гостиничный номер.

И ржать. И полный мальчик, и кругом все.

— В мои апартаменты.

— А ей можно?

Кто-то спросил равнодушно, мимолетно. А почему нельзя? Ей же тринадцать, вон длинная какая.

Муха сделал шаг вперед, взял за подбородок — хотела резко дернуться, вырваться, но по глазам Ленки поняла, что нельзя вырываться. Это она потом все объяснила, что нужно прийти и делать все, что он говорит, даже если и противно будет; иначе жизни не дадут.



Он трогает *там*, Муха. Трогает Сивую и Белку, а сейчас будет моя очередь. Не больно, наверное, не больно, но почему-то хочется плакать.

— Эй, Конопатая, теперь ты. Иди сюда.

Он спокойно смотрит, ждет, что я подойду, — надо подходить, чтобы было ощущение у всех, что вроде как сама. Тогда унизительнее, неприятнее. Вон девчонки слезы размазывают.

Смотрю на Муху, сначала на лицо, потом вниз. У него топорщится там, под синими спортивными штанами — раньше такое только у отца утром видела, думала, что это какая-то болезнь, что у мальчиков не бывает.

Но у него заметно и страшно, потому что про отца знала всегда — он потопчется и пойдет в ванную, ничего не сделает, он болен и знает, что не так. А Муха словно гордится, не подозревает о болезни, не знает, как страшно смотреть.

— Ну, ты подойдешь или как?

Мотаю головой, отступаю на шаг.

Полноватый мальчишка, а он тут один из дружков Мухи, нарочно особо никого не зовет, хотя половину санатория мог притащить, чтобы *наблюдали*. Не зовет, чтобы одному достались.

И я достанусь?

Он смотрит и протягивает правую руку с согнутыми пальцами.

Вдруг чувствую страшную и внезапную тошноту, бормочу что-то, сгибаюсь, держусь за живот, за горло. Меня рвет — рыбной котлетой от ужина, компотом из кураги, мутной водой. Под ногами желтая лужа, в голове — звон. Муха отдергивает руку, отступает, матерится еле слышно.

— Бля, — говорит, — сука, ты зачем?..

— Извини, — и сама не знаю, зачем говорю, почему *извини*, если ни в чем не виновата.

Вытираю рот рукой, поворачиваюсь — и все равно не исправить, надо бежать. Открываю дверь — она открыта была, оказывается, Муха не запирает, а мы и не знали.

(Знали, все знали. Тут замки вообще не работают, не принято, поэтому сбежать давно могли, только зачем? Раз сами пришли — я, Белка и Сивая.)

Девочки вышли уже, оказывается, когда я только пополам согнулась. Но не убежали, ждут.

— Ну и дура, — говорит Сивая. Она застегнула рубашку, но грудь все равно немного видно. — Мы же видели.

— Что видели? В чем я опять виновата?

— Что ты спецом себе два пальца в рот.

— Где спецом? Ничего я не два пальца...

— Нет, видели. — Белка подходит, тянет носом: — Фу, ну и вонь от тебя. Иди помойся.

— Я сама разберусь, ладно? Это из-за двери воняет.

— Ну так Муха сделает так, что вонять будет от тебя. Описaeшьсeя вдобавок к тому, что устроила. Он сделает, я знаю.

— А с тобой было, да? — огрызаюсь, подхожу, позабыв, что не отошли от комнаты Мухи далеко, что минуту назад вместе дрожали.

— Ну и потом, это что же получается, что Муха нас трогал, а тебя нет, ты — чистенькая? Так не пойдет. Надо, чтобы всех.

— Почему?

— Потому что. Заткнись. Заткнись.

Белка, Белочка вдруг начинает верещать, кружиться. Психованная. Все они тут. Вот бы маме сказать; но домой нельзя, нельзя. Ладно, пусть. Я рыженькая, я конопатая, меня в школе однажды взяли за волосы и шмякнули со всей дури о стенку так, что на ней кровавые разводы остались, да и появившиеся после этого синяки под глазами потом месяц тональником замазывала — и вообще чуть ли не единственный раз был, когда им пользовалась; но это чтобы учителя не доматывались, не спрашивали, маме не звонили. Она и так была *подавленная, никакая*.

У Белки белые слезы.

Ладно, я пойду, говорю Сивой, потому что сейчас кто-нибудь выскочит и спросит, какого черта мы тут делаем, может, даже Алевтина придет. А тут Белочка. Может, он как-то слишком больно ей сделал? Ведь не приглаживалась от смущения, а может, он ей...

— Но я тебе сказала, запомни. — Сивая держит Белочку за плечо, поэтому рубашка распахивается еще сильнее. Грудь видно, но ее как бы и нет, маленькая, не выросла еще. Даже непонятно, почему он ее позвал. Страшненькая же девчонка, вон и красные прыщи на подбородке, не замазанные ничем, хотя даже я понимаю.

— Вообще, — вдруг говорит Белка нормальным, живым голосом, — вообще-то кто узнает, что он ее не трогал? Ходила к нему в комнату? Ходила. Мы были,

видели? Видели. А Муха трепаться не станет. Так что большой облом, Кнопочка. Кнопочка, Гаечка — блин, что за имя такое? «Чип и Дейл спешат на помощь» — твой любимый мультик, поэтому?

На это молчу.

Что в голове у тебя, а?

Пробираюсь в нашу палату, думаю, что вот сейчас Ленке расскажу, утешит — и понимаю, что и ее тоже позовут, если не уже. А наверняка, она старше меня, красивее, у нее волосы длинные. И что буду говорить? Ведь ее уже трогали, наверное, она и меня ненавидеть станет — за то, что вырвалась.

Посмотрю утром.

Ложусь на кровать в темноте, а у Ленки в руках телефон, экранчик «Нокии» бледно поблескивает. Не спит, молчит. И я молчу. Плохо, что рот не прополоскала и не умылась, но страшно выходить в коридор, так и засыпаю с кислым запахом.



Утром-то непременно поговорим. Но проходит утро, проходят другие — тихо. Ничего, никого, только Муха на глаза не показывается, и дружки его держатся в стороне, и от этого страшно. Но я выдержу, все выдержу — успокаиваю себя той же скороговоркой, какую впервые произнесла про себя там, у Мухи, — я рыженькая, я конопатая, меня в школе били о стенку, кровью мазали, кровь шла из носа, лоб кровоточил, а я ничего, я все выдержала, перетерпела. Может быть, после этого зрение так испортилось, не знаю. Врач даже спросил в последний раз, положив мутное стеклышко обратно в ящик, — слушай, дорогая, а тебя никто по голове не бил? Это был платный врач, в оптике, не в поликлинике, поэтому ласково разговаривал — дорогая, хорошая, сядь вот сюда на стульчик, возьми вот эту штучку

и закрой левый глаз. Теперь закрой правый. Или даже на «вы», не помню.

Не глаз, глазик.

Глазок даже — спи глазок, спи другой. А про третий в той сказке забыли, так и я — всех-всех запомнила, кто бил. И Муху запомню.

Нет, не бил, я отвечала у социального педагога, потому что никто не бил нарочно, а я просто *ударилась*, как потом они объясняли. И он спросил — это правда? И я, подняв глаза, сказала: нет, неправда, но не поверили.

Я сразу пожаловалась маме, что в своих очках стала плохо видеть, если честно, я их все время в кармане рубашки таскала, но, когда контрольные по физике и математике писали на доске, приходилось доставать, ничего не поделать. Вначале молилась, чтобы никто ко мне не поворачивался, но на таких предметах и на самом деле вряд ли повернутся — знали, что я двоечница, что сама не понимаю ничего, а вот на истории как нечего делать повернуться, на русском тоже. Но они как-то не замечали — ни очков, ни меня. Будто это я *предала* кого-то, когда социальному педагогу сказала, что все неправда. Объяснили, что злюсь, что злобу еще с первого класса затаила, хотя все играли, дразнились, носились по коридору, а драмы не устраивали.

Но и я не хотела никакой драмы, просто чтобы никто не поворачивался.

Но ведь и это на пользу, потому что, когда *все началось*, лагеря, санатории, дома отдыха всякие стали вначале *своих* детей брать. Ну там если у кого гастрит, болезни нервной системы, зрение вот плохое — звали. Чтобы паники не было, что они *всех* детей забирают, вроде как эвакуируют, а все шито-крыто, просто предлагают *отдых*. *Отдых и лечение*. Мама письмо вслух прочитала, и мы пошли покупать ночную рубашку, потому что старая совсем в прорехах, только дома и прилично надевать. Про

«прилично» так папу и вспомнила — ему-то важно было, чтобы на меня как на человека смотрели, как на его дочку, аккуратную, классно и модно одетую. Нам-то с мамой всегда пофиг было, но тут догнало, вспомнили папу, поговорили: а как бы он захотел? Купили, постирали заранее. Короткая, с кружевом — как у взрослой, как у женщины.

Что еще о школе? В новых очках сидела, заставила себя надеть.

И впервые была четверка по физике, физичка похвалила даже, посмотрела удивленно — очки тебе к лицу, сказала, золотистая оправка подходит к волосам. И никто не засмеялся, все поверили, потому что она красивая женщина, изящная, в костюмчиках ходит, в синем и зеленом. И никогда — в джинсах, в штанах зимних с начесом, в черных толстых колготках в катышках, не подходящих к сменной обуви.

Не хочется о школе, здесь я на другую жизнь рассчитывала.

Просыпаюсь совсем, открываю глаза — рассвета нет, на улице в окнах без занавесок серо, глаза болят — значит, пяти утра нет. Сейчас точно в коридоре никого, поэтому встаю и тихо иду в туалет, зубную щетку беру с тумбочки. Люблю стоять в умывалке, когда кругом никого, когда никто не заглядывает в зеркало через плечо.

Тогда, у Мухи?

Было что-то, даже передергивает.

Его рука с согнутыми пальцами, что собирался делать?

Что-то плохое, что-то невыразимо страшное?

Начинает тошнить снова, потому запрещаю себе думать. Мне ведь напомним еще. Наверняка.

Девочки сказали.

А Муха смотрел.

Так смотрел — его, наверное, не по фамилии прозвали, по глазам. Его фамилии не знаю; и никакие не знаю, даже Ленки.

Возвращаюсь в палату и лежу тихонько еще два часа, терплю боль за глазами — жду, когда Ленка проснется, ей-то ничего не мешает до подъема лежать спокойно.

Моя Лена высокая, выше меня, но не сутулая, прямая, только лопатки остренькие, крылышками, когда топик надевает на тонких ляточках. Когда в футболке, ничего не видно, в глаза не бросается. Но в футболке она ходит только утром, потому что на вечер, на выход в моде короткое, то, в чем тело видно: кожа, синяки, царапины, веснушки. Потому она после завтрака наряжается, долго стоит у маленького зеркала, привинченного к дверце шкафа, в которое всю себя никогда не разглядишь, надевает джинсы, застегивает ремень. И топик, непременно топик — они лежат на двух ее полках, грязные, в белых пятнах от дезодоранта. Есть один новый, в целлофановом пакете, но его для дискотеки хранит. Показалась один раз просто так в нем, ночью, — улетно, что сказать. И под него лифчика не надо, любой будет торчать, а так даже красиво. Я вроде тоже не ношу ничего под одеждой, но только никогда, никогда не буду такой классной.

Дискотека в субботу.

В зеркало можно только после Лены посмотреться, потому как она красивая, ее даже эти маленькие прыщики вокруг губ и на подбородке не портят, а я...

Но не сразу, украдкой, одним глазком, — иначе явится Акулина, выйдет из зеркала и сожрет всех. Вам же по тринадцать, а кому и больше, сказала Алевтина Петровна, когда мы в первый раз, визжа, выбежали в коридор, не стыдно верить в такую чушь? Какая еще Акулина? Лучше бы фенечки плели, браслеты разные. А мы и браслеты тоже делали, и мулине просили родителей привозить, и бисер, и застёжки, но только ведь это не то, а надо, чтобы страшно. Это кто же из вас придумал такое? Да это все она, Рыженькая, — думала, скажут (тогда

я еще была Рыженькая, сразу не придумали настоящее прозвище). Почему бы им не сказать? Мне тринадцать лет, да и то исполнилось недавно единственной из старшего отряда, Ленке-то пятнадцать, например. Хотя тут ненастоящие отряды, понятно, не как в обычном лагере, просто по привычке говорим. И в обычном лагере я тоже никогда не была, все плакала, чтобы не отправляли. Перед *этим* тоже плакала.

Но не сказали, не выдали меня, никто не крикнул — Рыженькая, она, она, ее заберите, ее ругайте. Просто извинились перед Алевтиной Петровной за *переполох*, а она всех по комнатам разогнала. Моя Лена потом пришла, к вечеру, — она с нами ерундой всякой не занималась.

— Так нормально?

Лена оборачивается ко мне, гладит руками топик, джинсы, одергивает. Топик синий с металлизированной ниткой.

— Сейчас, серьезно? На завтрак в таком виде? Раньше ты никогда...

— Знаю, знаю, — она нетерпеливо перебивает, — но сегодня хочется. Настроение, понимаешь?

— Понимаю. Ну что, огонь, — говорю, смотрю через ее плечо в зеркальце. Там тоже ее волосы — ровные, светлые, с мелированными прядками, и не в один цвет, как у всех, они и белые, и кремовые, и рыжеватые (только она не *рыженькая* и никогда не станет), и бог знает какие еще.

— Ну что — огонь? Я говорю — нормально, что он такой короткий, не заорут? А то Алевтина в тот раз встала возле столовки, дежурила. Если кто без очков, отправляла искать. Так и говорила — жрать не пойдешь, пока не найдешь. Типа Лермонтов.

— Какой еще Лермонтов?

— Ну, Лермонтов — не знаешь, что ли?

Я знаю *Когда волнуется желтеющая нива* и много всего, и Ленка это понимает. Когда вошла в комнату и меня

с книжкой увидела, спросила: а разве родители тебе не запрещают читать? Мне вот только по учебе, чтобы глаза дальше не портить.

Никто не запрещает, да и как?

А на самой даже очков нет. Я потом пригляделась, спросила — и Лена призналась, что в рюкзаке таскает, а здесь родители велели все время носить, чтобы воспитатели и врачи не ругались, да только ей по фигу. Показала эти очки — заляпанные все, в золотистой оправе, а стекла тоньше моих. Я бы таких не стеснялась — разве с такими волосами, джинсами, розовым блеском для губ и тенями с блестками можно стесняться? И здесь-то, здесь все равно никто особо смотреть не будет, а все равно выйдешь самая красивая. Ленка то есть выйдет. И из-за того, что я живу в одной комнате с самой красивой девочкой, ко мне не очень-то пристают, словно ее *красоты* немного и мне достается.

Здесь вправду могла бы начаться *новая жизнь*.

Тут все слепые.

Или полуслепые, если не с близорукостью, а еще с какой-нибудь гадостью. В особой комнате карты лежат — пацаны залезали, читали про всех, но не поняли: почерк, что поделать. Незнакомые латинские слова.

— Ну, типа, Алевтина вообще на Лермонтова не очень похожа.

— Господи, ну ты и дурында. В рифму, смекаешь? Она в рифму все говорила, чтобы за очками топали. А хочешь прикол? Некоторым-то не надо их носить, у них и в карте написано. А Алевтина все равно отправляет. Пацаны ржали, делали очки из проволоки, стекла не вставляли, цепляли так. Дураки. Но она ничего, пропускала.

Так сидели, хлеб в суп крошили, половина столовой — в ненастоящих очках из алюминиевой проволоки, что на помойке за зданием валялась. Мы с папой из такой кольчуги плели, тоже высматривали на столбах,

на турниках, свалках. Нарочно ходили, палками гадость разрывали. Один раз жалко было, что кто-то замороженную курицу выкинул, — мы тогда редко мясо покупали. Только окорочка на праздники, чтобы ничего-то не израсходовать зря. Так что мама радовалась, когда удалось сюда определить — будут кормить мясом, должны, чтобы белок был. Недостаток белка провоцирует серьезные проблемы с глазами: успели выучить, от школьной медсестры наслушались. А здесь раз в два дня дают минтай, кусочками, только никто не ест.

Стыдным считается есть минтай, потому что один мальчик (так давно, что никто не помнит) подавился костью и умер. Его и похоронили за санаторием, как раз возле помойки. Родители приезжают в конце смены, спрашивают, а где наш мальчик? Так их на помойку и отвели, холмик показали, цветочки. Вот, сказали, здесь ищите.

Вообще-то в это только совсем малыши верят, но минтай и четырнадцатилетние не едят. Даже Ник, которому все двадцать на вид, но на самом деле пятнадцать. Это не я придумала про двадцать — Ленка однажды сказала. Не знаю, почему она решила, что Ник выглядит старше нас. У него даже усики еще не пробиваются, а вот у Мухи — да. Еще Ленка обмолвилась, что хотела бы, чтобы ее парню было двадцать. Двадцать, ага, скажи еще — тридцать, чтобы уж вообще стариком был. Хотела еще добавить — ну какой двадцатилетний будет с тобой встречаться, дура, но подумала: а ведь будет, с ней — точно будет. Двадцатилетний, ха — он же ходит, пахнет, ведет себя как двадцатилетний, с нами сходство у него небольшое, не представляю даже, какой я сделаюсь, когда дорасту. Когда-нибудь попробую представить, глядя на наших мальчиков, когда будет на кого смотреть, когда мой взгляд остановится хоть на ком-нибудь.

Моя Ленка берет иголку, вынимает из маленькой швейной подушечки. Иголки здесь нельзя хранить,

но протащила. Она ей не для шитья, понятно, а вот для чего — удивилась, когда впервые увидела: нарисует ресницы черной тушью *Lutene*, слипнутся. Так Ленка берет иголку и начинает аккуратненько разъединять — рядом с глазами, со зрачками, которые нам следует беречь.

В столовой над общим столом плакат:

БЕРЕГИТЕ КАК ЗЕНИЦУ ОКА,

только неясно, что именно, — буквы стерлись задолго до нашей смены. Думаю, что если когда-то Алевтина маленькой была, то и она не видела.

Но только что такое *зеница*? Мы думали, что ресница, такие ресницы, только другое слово. И Ленка думала так, потому и *Lutene*, незасохшая и неразбавленная, чтобы не беречь *зеницу ока*, чтобы все делать назло.

— Тише, не говори ничего пока.

Застыла у зеркальца, рот приоткрыв.

— Я и молчала.

— Ну все, заткнись, — Ленка нервничает, рука дрожит, — ты что, хочешь, чтобы я в глаз ткнула?

Скоро она поворачивается, красивая. То есть еще нет — осталась пудра, и можно будет идти на завтрак.

— Конопля, ты же подождешь меня?

Ласкается, заискивает. В новой одежде стремно идти одной перед всеми, так что готова со мной. Вчера не хотела вместе, будто что-то почувствовала, будто кто-то рассказал.

Наверное, тут следует объяснить, почему это я Конопля, ведь не сама же себя назвала. Все оттого, что конопатая, в серо-золотистых конопушках. Они бы сами не додумались, сама сдуру брякнула, когда спросили, а что это у тебя за хрени такие на лице, родинки, что ли? То, что не обычные веснушки, как у всех случаются, ясно стало сразу, ни у кого не бывает столько. Но не хотела,

чтобы думали, что я в родинках вся, потому сказала, да вы чего, это же конопушки, не знаете разве? Конопушки, ха. Конопля ты конопатая, а кто сказал, забыла уже, на второй день было, на второй, в коридоре возле столовки. И вот я уже не Рыженькая, а Конопля.

Потом и это изменится.

Про комнату было потом.

Однажды мы на прогулку не пошли, я сказала — в комнате посидим. Алевтина заорала, что мы и так белые, куда дальше-то. Но силой не стала, а оказалось — комнатой никто не называет, а только палатой, как в больнице. Ты домашняя девочка, сказала Белка, тебе-то откуда знать.

Ленка все еще смотрит.

— Ну куда денусь. Давай раскрашивай морду дальше, наверняка ведь не все.

— Хочешь, и тебе блеск для губ дам? С клубничкой.

— Сейчас же съедем его, ну. Зачем? Лучше вечером.

— Да ты и вечером не захочешь, — себя мажет блеском, — а вообще-то нужно есть так, чтобы не размазывался. Лучше вообще не есть. Или как-нибудь через трубочку, не знаю.

— Да где ты видела трубочки?

— Мы в Москве в «Макдак» ходили, там трубочки ко всему — охрененно, да? А ты была?

— Нет.

— Ну ясно, — и жалеючи смотрит через плечо.

— Слушай. Я тебе должна кое-что сказать.

— Потом скажешь, ладно? А то завтрак совсем уберут, а каша остывшая блевотная больно...

Это точно, потому и не едим ее.

Надеваю невыносимые очки с захватанными стеклами, и мы идем в столовку.

К завтраку бутерброды с колбасным сыром с темно-коричневой каемочкой, а я ела только «Пошехонский»,

заветренный немного, или никакой вообще. Когда я совсем мелкая была, что даже не помню, родители покупали со скидкой — вообще очередь выстраивалась, когда она появлялась, и стыдно им, наверное, было среди бабок в заплесневевших пальто с твердыми застывшими меховыми ворсинками воротников, в лаке для волос, перхоти и пыли. Но иначе покупали бы раз в два месяца, наверное. А я же росла, нужен кальций для всего. Когда уже в школе была, папа мог сыр просто так покупать, без всякой скидки. И творог. И молоко — заставлял пить каждое утро, даже в чай добавлять. Даже когда оно портилось, шло хлопьями, все выпивала, чтобы стало больше чертова кальция в теле, в ногтях. В школе медсестра сказала, что это я потому такая слабенькая — из-за недостатка белка. Ногти вот как проверяли — не стригла нарочно две недели, а потом старалась поскрести что-нибудь твердое. Но они все равно ломались — значит, мой кальций был какой-то не такой.

Может быть, в хлопьях-то и больше всего кальция, он как-то сбивается сам собой, становится *концентрированным*, но хлопья я вылавливала, не ела, когда папа не видел. Потом он перестал все видеть.

Потом, без папы, мы снова за сыром со скидкой стояли.

Возле тарелок с бутербродами сидит Юбка.

— Эй, — он говорит Ленке, не мне, меня мимо, — вы что, с Коноплей там трахались? Все уже пожрали давно, чего тормозили?

Дебил, она пожимает плечами, но отходит подальше, уже нет нужды, мы в столовой, в хорошем безопасном месте, но только он вот почему бесится — все должны *ждать друг друга*, не выходить из столовой поодиночке. А Юбка, наверное, посмолить хотел выйти, а мы не дали.

— Че сразу дебил, — отбрасывает сальную челку, кривится, — не, правда. Я ждал, ждал. Пять ложек сахара в стакане размешал.

— Куда тебе столько?

— А вот тебя угостить. Хочешь?

Юбка вдруг поворачивается и протягивает влажный склизкий стакан с мутной водой — не Лене, мне.

— Будешь пить?

— Отвали.

Он ржет, оглядывается на пацанов. Среди них и Муха. На меня не смотрит.

— Не пей, он туда нахаркал, наверное.

Лена волнуется, думает, я совсем без мозгов.

Тут они еще громче ржать стали, а Ленка улыbnулась — не должна была, она же со мной живет, она же клубничный блеск для губ предлагала, а я собиралась взять — на вечер, к дискотеке.

— Пей, говорю, полезное, — скалится Юбка, — только гляди, чтобы не стошнило.

Ржут кругом, хотя верю, что не знают, о чем он. Он Юбка давно — не просто так. В самый первый день появился в широких рэперских штанах, и Алеветина, увидев его, воскликнула — ну надо же, настоящая юбка! Больше не надевал никогда, но кликуха пристала, не отдерешь. Он один раз даже плакал.

— Да пошел ты!

Он тычет в нос мерзким стаканом, не отходит. Тогда, выставив ладонь вперед, резко толкаю стакан — и вот уже Юбка орет в мокрой футболке.

— Ты дура больная! Мне переодеться не во что!

— И хрен с тобой, сам свою мерзость жри.

Он отходит к пацанам, те над ним заливаются — он и правда весь мокрый, спереди футболка к телу пристала.

— Так уж и не во что. В одной футболке приехал?

Что-то и жалко стало его, Юбку. Может, и не харкал он туда, а это Лена придумала...

Но он как-то глядит исподлобья, выплевывает сквозь зубы — зараза, быстро выходит из столовой. А Муха еще до этого исчез, не заметила, когда точно.

Конопля нервная стала, говорит кто-то из пацанов, на людей кидается. Но никто не заступился, не сказал. Мы сели с Леной одни, последние, пододвинули к себе тарелки с остывшей кашей.

— Он это тебе припомнит, — говорит Лена, но словно бы с уважением, не просто так, — я сама видела, как он одного пацана в туалете выслеживал. Это того, который первым про Юбку заорал, потом привыкли, но тогда...

Не так уж стыдно быть Юбкой.

Я бы и не сказала ничего, не обиделась.

Заходит Хавроновна, огромная и белая, она завхоз у нас вообще-то, но занимается всем подряд, осматривает место преступления — стакан на полу, вода пролита, сахар горкой лежит, потому как Юбка опрокинул, а больше никого, только мы с Ленкой, и мы виноваты.

У нее глаза черные, и под глазами — черное, черный карандаш.

Кажется — вот-вот прорвет тоненькую плотину век и прольется на щеки.

— Это что, девки? Что вы за свинарник. Устроили?

Ей тяжело все одним предложением говорить, нужно остановиться, отдышаться. Ей самой бы в санаторий — только легочный какой-нибудь. Отсюда вижу, как раздуваются бока, ребра, под которыми легкие. Может, туберкулезница, а сама не знает — много раз видела красное на ее подбородке, только это всякий раз оказывалось помадой.

— Сейчас убираться будете.

— Да это не мы, — вяло вякает Ленка, знает, что раз Хавроновна заметила — будем убираться.

— Ага, а кто? — А Хавроновна размазывает носком мужского черного ботинка воду по полу. — Тряпку вон на батарее. Возьмите. Рыжая с пола пусть. Подотрет. А ты со стола.

Можно бы спросить, почему это я с пола сразу, почему я? — да только у Хавроновны нельзя спрашивать. Видела, как она парню затрещину дала — он хлебом кидался. Маленький парень, не помнит ничего, даже не плакал. А вот я увидела, что она и сильнее могла ударить, сдержалась в последний момент, — даже странно, что дышать не может хорошо, а сила такая. Он потом синяк никому не показывал, но увидели парни, когда он разделся в душевой, — большой синяк, кровавый. Вообще не должна бы так Хавроновна с детьми, это даже самые придурки поняли. Маленький парень не жаловался, не понял даже.

Беру с батареи мокроватую, заскорузлую тряпку, быстро вытираю воду, благо почти вся на футболке Юбки осталась, а Ленка выделяется, медлит, я и то говорю — да возьми ты быстро другую тряпку и вытри, а она: нет другой, давай эту.

— Ты чего, — я разгибаюсь, смотрю, — эта же после пола, мы же тут в обуви ходим.

— Да ладно, пофиг вообще. Ну Юбка... Вот я ему устрою.

— Что ты устроишь?

— Не знаю, гадость какую-нибудь. Ты кашу жрать собираешься?

Кашу такую тоже нельзя есть, как и минтай, так что я не ответила — вытерла руки о джинсы и взяла недоеденный бутерброд с колбасным сыром. Хотя каша кажется вкусной — овсяная, без масла, зато посыпанная сахаром, что в наших тарелках уже успел раствориться, исчезнуть, но все равно замечаю по крошечному влажному пятнышку. Хотя на сахар не могу смотреть, все лицо Юбки перед глазами.

Надо спешить, есть быстрее, стараться успеть до того, как Хавроновна вернется проверять — можно посмотреть на пол, — сказать, что плохо стараемся.

— Ладно, — говорю потом Ленке, когда бежим на процедуры, — минтай-то еще понимаю, а чем овсянка не угодила?

(Ленка здесь в прошлом году была, не в эвакуации, просто так.)

— Ну как, там вроде как мальчик один сказал, что нельзя перловку есть, потому что иначе на войну попадешь.

— На какую еще войну? Кто — мы? И потом, это не перловка была, овсянка.

— Один хрен. Не знаю, на какую войну. А только перловка и верно мерзкая, жесткая. В зубах застревает даже. И все равно, что не перловка, один черт — каша.

— Быстрее бы уже родители пришли, они всегда вкусного пожрать приносят.

Ленка помолчала.

— Только что-то давно не было.

И ведь не только ко мне перестали приходить, не только я заметила. Так ко всем. Никто из родителей за последние три дня у КПП не показался.

Но ведь это случайно, наверняка случайно. Ну то есть просто мама... просто ко мне мама сейчас пока не может прийти, а к остальным приедут, и мама приедет, просто нужно дождаться.

Мы долго ждем.

— Ладно, валите отсюда, — Хавроновна возвращается, — у вас же процедуры, опоздаете, а я виноватой. Останусь. Так что хрен с вами. Оставьте тарелки, оставьте. Уберу.

Она не злопамятная, хотя и сильная — в обед уже снова будет улыбаться, вываливая на стол ложки и вилки. И хоть бы на скатерть вываливала, а то ведь это тот же стол, куда после еды грязную посуду ставят, а некоторые еще и грязные пальцы о столешницу вытирают, мелкие которые. Им к раковине идти лень, хотя вон

она — прямо возле входа в столовку, а им нет, ничего. Так и ходят с грязными руками.

И о том маленьком мальчике Хавроновна наверняка забыла *быстро*. И он.

Я понимаю, из-за чего все, а Ленка делает вид, ей ведь еще жить со мной. И некуда деться, все палаты заняты, а у нас-то она буржуйская, двухместная, остальные втроем-впятером. И только Муха один. Да, еще Крот вместе с Гошиком, тихим пацаном, но им так случайно повезло.



Бежим делать упражнения — мы опаздывающие, потому с Ленкой в одной группе оказываемся, хотя нам разное нужно.

Раз — смотрим вдаль, на кроны деревьев. Там тоже отсчет: раз, два, три, четыре. Считает тетенька без имени, к ней даже Алевтина никак не обращается.

Раз, два, три, четыре. На пальчик смотрим, на пальчик.

Смотреть нужно без очков, поэтому никакой дали я не вижу — только окно. Ленка видит лучше, поэтому среди деревьев может разглядеть и птиц — однажды сказала, что заметила какую-то лесную, пестренькую. И ясно, что выдумывает, — до леса далеко, никто к нам не прилетит.

Эй, Кнопка.

Я не Кнопка, а Конопля, но вообще-то можно уже забить.

И Ленка не Ленка, кстати, все забываю сказать — это потому, что у нее толстовка была с надписью LENA, фирма такая, наверное. А так по-другому зовут, теперь даже для Алевтины сделалась Ленкой, и так будет, пока кто-нибудь не заглянет в ее карту. А мы не любим, когда смотрят в карты, там про нас правда.

Алевтина подходит ко мне, касается плеча.

— Ты что упражнения не делаешь?

А я делаю, просто не могу же мимо нее в окно смотреть.

— Ладно, я тут хотела спросить, а что, тебе операцию разве никакую нельзя?

— На глазах?

Замираю, шепчу. Тут ведь никому нельзя на глазах, из тех, у кого близорукость, астигматизм. Наши глаза еще растут, и не знаю, когда вырастут совсем. И ехать придется в Москву или не знаю куда еще, в Городе не делают такого, даже близко не подходят к нашим глазам.

— Нет, на сердце... У тебя же порок?

Пожимаю плечами, смотрю на палец. Раз, два, три, четыре, считает женщина без имени. Она бы отругала Алевтину, что та подходит и отвлекает, ведь и так плохо делаем, не стараемся, ерундой страдаем, но Алевтина вроде как главная здесь, поэтому женщина сдерживается, не смотрит.

— Ладно, потом.

И Алевтина отходит.

— Слушай, — потом спрашиваю Крота, — а что такое порок сердца?

Он снимает дырчатые дебилные очки, которые на него вечно цепляют на процедурах, но на него одного, потому что мелкий, забитый, а нормальные парни такое ни в жизнь не наденут — все срывали с себя, один даже растоптал, сказал, чтобы в жопу себе засунули. А Крот один надел, получается — оттого и Крот, я так думаю.

— Крот? Ну что такое порок? Ты же умный.

И правда умный. Шестиклассник, а знает про горы, реки. Какая самая глубокая, какая самая высокая. Может, и про порок знает.

— Это когда шумит что-то внутри, и от этого можно умереть.

Это у меня внутри так шумит? Как она поняла?

— Ясно.

— А тебе что до этого? Может, у Малыша услышала? Так это он так дышит, для собак нормально.

— Нет, кажется, это у меня.

— Не придумывай. Просто так, ушами одними, это нельзя услышать. Это фонендоскопом — ну, знаешь, когда такой холодной трубкой по груди елозят? Вот тогда врач может что-то сказать.

— И ничего я не придумываю! Мне, может, Алевтина... — а потом думаю: и чего я его пугаю, признаюсь? Пусть лучше моей тайной останется. — Ну да, а вообще у Малыша тоже.

Малыш внизу живет, это наша собака, о ней взрослые не знают, поэтому смотрю выразительно на Крота, он качает головой — ладно, не бойся, не слышит же никто. Малыш кудлатый, точно маленький барашек, а мы все дуем, а не подстричь ли его? И ведь подстрижем, только хорошие ножницы нужно найти, острые.

— Пойдем сегодня родителей встречать? На КПП? — говорю.

Почему-то не хочется с Ленкой, а Крот все же мужчина.

— Кнопка, а почему ты думаешь, что родители придут?

— Ну не знаю. Должны.

— Ладно, мы сходим, конечно, но ведь не факт... Уже пять дней никого. Ты же понимаешь.

— Не, не понимаю.

— Ты же понимаешь, почему нас сюда отправили.

— Не понимаю. У нас всех проблемы со зрением, мы лечимся, вылечимся — выйдем.

— Мы не вылечимся. У меня минус шесть, и дальше хуже будет. И нас не для этого привезли, ты же знаешь.

— Да ну тебя в пень, — отворачиваюсь, не обижаюсь, а так только.

— Эй вы!

Тетенька без имени останавливает взгляд на нас, и только тогда Крот торопливо надевает очки, а я смотрю прямо перед собой — никакой дали, ничего, из окон только верхушки деревьев виднеются. Какие там деревья — зеленые, большие, какой запах у коры, нагретой июнем? А нам до тех деревьев не дойти, днем, по крайней мере.

Ох и смеялась я вначале — как же так, нельзя на улице дальше КПП ходить, а он ведь только так называется: будочка и охранник сидит, даже шлагбаума нет, а только калитка в заборе. Нельзя через эту калитку днем идти, а ночью можно выйти и добежать до деревьев — вон до тех зеленых, лип или тополей, мы не знаем их названия, до сих пор не знаем, как и любых трав во дворе. Разве что одуванчики узнаем, но и они скоро отцветут, станут белыми.

А оказалось, что и на самом деле нельзя.

Я думала, что охранник — добрый дедушка и просто так сидит, смотрит, чтобы к нам на территорию какие бомжи не зашли.

Но когда открыла калитку, вышел и он.

— Назад, мелкая.

— Почему?

— Потому. Жми назад, не велено выпускать.

— Как это?

Он не ответил, а все ждал, когда я назад поверну. У него ружье там в будочке, без шуток. Я замешкалась, а он потянулся к ружью — вот испугалась!..

Сразу к Алевтине побежала жаловаться, что же такое происходит, почему не выпускают? А она не пожалела, по голове не погладила, оглядела с ног до головы, взяла бумажную салфетку и стерла кровь с царапины — от страха расковыряла, когда со сторожем разговаривала, или просто зацепилась — не заметила. Алевтина сказала,

что нельзя выходить. Совсем нельзя. Нет-нет, ничего такого. Просто она за всех отвечает, а ну как потеряемся?

Кто потеряется — мы? Я?

А мало ли. Тут же вода близко.

И правда — стоит санаторий на берегу Сухоны, в воду глядится. И мы станем глядеться, если уйдем. Так она думает.

А потом всех собрали в фойе и — и я уже забыла, может, и правда не положено выходить, я же ни разу не была ни в лагерях, ни в санаториях, не знаю порядков — объявили еще раз, что выходить запрещено. Заходить тоже. У Алексеича ружье не на нас, а на тех, кто захочет зайти.

Глупость какая, на родителей, что ли?

Пока без родителей, сказала Алевтина.

— Упражнение делай, — тетенька без имени подошла близко, — или такой же хочешь сделаться?

Кивнула на Крота.

Крот хороший, но я не хочу быть такой.

Даже когда он снимает черные дырчатые очки, вокруг глаз надолго остается черное. Не стирается, хотя мы с ним мылом в умывалке терли и спиртом из медпункта — зря только, чуть глаза не сожгли. Не проходит, все на том. Он не на Крота похож, а на меня год назад, после того удара. Только у него темнее, страшнее. Может быть, тоже ударили. Может быть, просто упал.

— Как ты так, Кротик? — говорила, пытаюсь противить это темное куском ватки. — Упал, наверное? Больно было?

— Да я не падал, это давно.

— Как — давно?

— Да с детства еще. Это пигментация.

— Что?

— Ты не знаешь такого слова?

— Нет, просто странно...

— Что странного, просто это не из-за чего-то плохого, а все думают — из-за очков.

— Тогда зачем мы отмывать пытались, разве это... эта, как ее... пигментация? Выходит, что это все равно что веснушки мне соскабливать — глупо.

— Ну да. Я просто хотел, чтобы ты убедилась.

Станный он. Иногда говорит — словно по книжке читает, иногда — обычно, как все пацаны. Не знаю.

Ему тоже тринадцать.



На обед дают минтай, твердый и плохо размороженный внутри. Но не решаемся сразу отложить, вот когда кто-нибудь из старших — наверное, все-таки Ник, не Муха, — отодвинет тарелку, это будет вроде как знак. Но Ник не отодвигает, трогает вилкой.

— Что, — говорит Муха, — ребзя, носы воротите? Тухлятина, да, — он смеется, делает вид, что сейчас будет блевать: вздрагиваю и отворачиваюсь.

— Да ты что плетешь, придурочный. — Хавроновна грузно подходит, наклоняется, нюхает рыбу; пацаны переглядываются, кто-то нарочно в воздухе показывает что-то огромное, разводит широко руки. — Ты что говоришь-то, думай. Какая тухлятина? Не с океана, да, но и не с помойки. Мороженная.

— И в самом деле. Нормальная рыба. Рыба как рыба.

Это Ник говорит, и Ник пробует. Берет кусочек на вилку, жует, спокойно, долго, напоказ.

Нику пятнадцать. В плечах узок, но высокий, звонкий какой-то, худощавый. И как-то его голоса больше слушаются, если только Муха не перекрикивает. А он не перекрикивает, больше прислушивается, выжидает.

Мы смотрим во все глаза.

А он живой, он жует. Медленно, с закрытым ртом, маленький кусочек. Прожевал, оглядел нас.

— Можно есть, ребят. Нам надо есть эту рыбу.

И потянулись, сначала нерешительно — проголодавшиеся за день, и только Хавроновна взглянула на Ника — тихо, непривычно для себя, пронизательно. Отозвала его в сторону, когда народ завозился, зазвенел вилками, заговорила. Я прислушивалась, но не смогла ни слова различить из-за гомона.

Крот смотрит странно, вдруг трогает мою руку — хочу убрать, но только все равно никто не замечает, доедают рыбу с пюре. И кажется ли, что пюре дали меньше сегодня — на ложечку, но меньше? Нет, мерещится, у других-то наверняка как раньше, а тут Хавроновна ошиблась, задумавшись о своем. И минтай вовсе не такой мерзкий на вкус, просто перемороженный, безвкусный. Ничего.

— Ты чего это?

От него пахнет морем.

— Ну, она ему сказала, что вроде как нам еду больше не станут возить, — говорит Крот.

Смеюсь. Как не станут, Крот ты Кротище, а что же мы будем есть? Ты хоть думай, а потом говори. Еда мерзкая, слов нет, но без нее же не оставят. Вон с утра хлеба сколько было.

Крот пожимает плечами, вытирает глаза — бесполезно вытирать, сколько пытался, но жест в себе не победил.

— Не хочешь — не верь, а я слышал. Хавроновна с Алевтиной разговаривали в комнате воспитателей.

— Что же — подслушивал?

— Ну а если и подслушивал, то что? Важное же услышал. И Ник знает.

Смотрю на Ника, на тонкое прозрачное лицо с редкими капельками веснушек — кисть стряхивали, попало. Нет, он не будет тухлую рыбу жрать, у него дома небось и красная икра в вазочке была, и заграничные

шоколадные конфеты с орешками. Но вот ест, и маленькое волоконце мертвой рыбьей плоти заметно прилипло к его подбородку. Гадаю — скажет ли кто? — потому что нельзя такому лицу, такому мальчику иметь на себе что-то плохое, смешное, нелепое, что на самом себе не рассмотришь. Но никто не смотрит, а только я. Крот с его глазами-кружками и не разглядит ничего, особенно маленького, белого.

А я — кто? Я ему совсем никто — как скажу?

— Ник, — шепчу. — Ник.

Он поворачивается, смотрит удивленно, но не так — мол, кто это заговорил? Наверное, Юбка уже растрезвонил всем, какая я сучка. Да и остальные. Потому могу и самому Нику сказать — и плевать, что он появился в санаторий в черных обтягивающих джинсах и белой футболке с лейблом, названия которого мы даже не смогли прочитать.

Кажется, по-испански написано.

— Да?

Он уже прожевал, а остальные к тарелкам потянулись — поднялся рыбный запах.

— У тебя на подбородке тут...

Показываю на себе, а он смахивает пальцами и царственно кивает — спасибо.

Ничего?

Ничего больше? Не смущается, а любой другой бы смутился.

Но он больше не разговаривает, доедает рыбу — до самого последнего кусочка, опавшего с разваренных костей.

После все животами немного мучились, потом привыкли. Наверное, только я единственная и не стала минтай пробовать. Бог его знает, что дальше получится, а только сейчас и от запаха мутит. Ник, а что Ник? Выискался, я под его дудку не собираюсь плясать.

— Ну и дура, — говорит Крот, — через день-два помнеешь.

Но через день минтай пропадает, и вообще все пропадает.

Сидим за завтраком, а там каша на воде, Муха смеется, а ну как пост начался, а мы и не в курсе?

— Да-да, пост, — кивает Гошик. Ему бы только согласиться с кем-нибудь.

— Да нет, какой пост — лето. Пост всегда зимой, разве не помнишь?

Не думаю, что он помнит. Он интернатский же, какой пост? Там все по норме, не бывает другого. Мы с мамой тоже не соблюдали никогда, только делали на Пасху творог с застывшим растительным маслом, украшали изюмом и шоколадной стружкой. Иногда покупали в киоске маленькие куличи, но никогда не носили их в церковь, как будто думали, что купить достаточно. Нет, ничего не достаточно, а нужно было ходить, тогда бы увидела красивые, теплые цвета и иконы, женщин в платках. Сама бы надела платочек. Косыночку, папа раньше просил, чтобы мне повязали *косыночку*.

Потом ее сменили на взрослый платок, только папа ушел, и в церковь одни с мамой не стали ходить. Кажется, мама даже немного злилась на нее, на церковь. Что красиво было, что стояли во дворе над длинным столом и втыкали свечки в бумажки на куличах, чтобы воском не залить, зажигали от уже горящих, локтями не толкались, прилично себя вели, тихо. А потом выходил священник в золотой одежде, блестящей на солнце, и брызгал на все, стоящее на столе, святой водой, но не сильно, так, чтобы белая сахарная глазурь не растеклась. Тогда мама умела печь куличи в особой форме, доставшейся по подписке на какой-то журнал, а потом разучилась.

Вздыхаю, вспомнила, что все еще сижу над холодной кашей на воде.